
ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

Виктор ФИЛИМОНОВ

«МАЛЬЧИК
С УЗКИМИ ПЛЕЧАМИ...»

(О сюжете и герое лирики
Владимира Спектора)

...От счастья до кручины
Сквозь миг,
 сквозь жизнь,
 сквозь век
Иду я, дурачина,
 советский человек...
В. Спектор. Усталый караул

Наверное, я не самый подходящий рецензент для поэта Владимира Спектора. Слишком субъективен в оценках, слишком пристрастен и слишком в итоге эмоционален. И тому есть ряд причин.

Во-первых, я, как и Володя (надеюсь, он простит мне эту фамильярность), старый луганчанин. Точнее и вернее, ворошиловградец. В город моя семья вернулась из эвакуации года за два до рождения Владимира Спектора. И вплоть до своей зрелости я мог бы, как и он, ежедневно отмечать:

В частном доме с утра —
 деревенский покой.
Лишь трамвай прозвенит
 вдалеке...

Я жил там с конца 40-х прошлого века, когда город уже давно был Ворошиловградом, и покинул его Ворошиловградом в середине 1980-х. Надолго. Навсегда, наверное.

«А я из Луганска. Вы тоже, вы тоже?» — слышится в стихах Спектора. Вот именно — я тоже. То есть я тоже — из Ворошиловграда. Наши места жительства разделяло

Виктор Петрович Филимонов родился в 1947 году в г. Орске. Образование: высшее педагогическое (филфак Ворошиловградского пединститута; аспирантура ЛГИТМиК, сектор кино). Автор книг о творчестве Андрея Тарковского, Арсения Тарковского, Андрея Кончаловского и других. Живет в Израиле.

пространство в полкилометра, а то и меньше. И опять же вслед за ним я мог бы называть те же опознавательные вешки времени, которое «называлось *Детство*»: улица Франко, «с 20-й школой по соседству».

Да,

...Взлетал Гагарин, пел Муслим,
«Заря» с Бразилией играла,
И, словно ручка из пенала,
Вползал на Ленинскую ЗИМ.
В «Луганской правде» Бугорков
Писал про жатву и про битву...
...Я был товарищ, друг и брат
Всем положительным героям
И лучшего не ведал строя.
Но был ли в этом виноват?
Я жил на улице Франко
В Луганске — Ворошиловграде...

Лирика Владимира Спектора плотно настояна на неповторимой атмосфере этой исконно и неизменно советской провинции, населена ее вещественностью — от предметов быта до хорошо осязаемых и обоняемых явлений природы, со времени тех самых 50-х. Поэтому стихи его мне внятны предельно. Когда сквозным эхом от первых его до последних по времени стихов несетя тарахтенье старенького луганско-ворошиловградского трамвая, пущенного впервые в 1934 году, я чутко эху внимаю. Оно не может не проникнуть, это первобытное звучание, в мое сердце и, соответственно, откликнуться.

До аптеки и обратно. На *трамвае* и пешком.
Принимаю аккуратно все таблетки с молоком.
От бронхита до ангины тот *трамвайчик* держит путь.
В перерывах — час с малиной и горчичники на грудь.

От ступени — до ступени. В кулаке пирамидон.
Кот садится на колени, а в ушах — *трамвайный* звон...

Вот смотрите: в процитированных строчках нет ничего, кроме предметов того самого быта. И как раз это меня глубоко трогает, пробуждает мою ностальгическую память.

Во-вторых. Я привязался к стихам Володи в самый ранний период его становления как поэта. Кажется, тогда, когда он их принес в конце 70-х в редакцию областной молодежной газеты, где я на ту пору подвизался в качестве заведующего отделом культуры. И, как ни странно, пропаганды. Владимир, замечу в скобках, слишком значимое место отводит мне в становлении его поэтической биографии. Но то, что он тогда мне показал и что вошло в его первый сборник «Старые долги» (1989), мне пришлось по вкусу. Не все, но многое. Поясню почему. Это необходимо, поскольку в силу непреодолимых обстоятельств я не мог регулярно следить за творческим развитием и ростом Владимира Спектора. Однако ж, обратившись гораздо позднее к его сборникам, а их к нынешнему моменту накопилось довольно много, я, отмечая достоинства его зрелой лирики, все-таки отдаю, по старой памяти, предпочтение «Старым долгам». Что опять-таки очень субъективно и продиктовано, возможно, возрастной ностальгией.

Живу. Мне тридцать третий год.
Я сыт, одет, обут.
И не испробовал, как дед,
Военной соли пуд... —

читаю в «Старых долгах».

Ну, а мне, когда я встретил Володю, который моложе меня года на три-четыре, примерно столько же и было. Чуть больше тридцати. А ему — соответственно. Дело, конечно, не совсем в ностальгии. А в тех взглядах на поэзию как особый род словесного творчества, которые как раз тогда во мне сформировались и которым я в основном следую до сих пор.

Русская лирическая поэзия после векового господства классического романа, пройдя сквозь романский опыт и усвоив его, пройдя сквозь опыт чеховской прозы и драмы, утратила вкус к отвлеченностям чистой медитации, к символической абстрактности. Она, поэзия, обратилась, по предсказанию Александра Сергеевича Пушкина, к суровой прозе повседневности. Даже к предмету быта, но к такому, сквозь который явно проглядывало и бытие. Именно поэтому в ту давнюю пору мне стала страшно близка лирика поэтов военного поколения, где поэтический предмет всегда был нагружен реальным жизненным опытом.

А у Спектора я и ныне нахожу внятное мне в этом смысле. Ну, такое, скажем:

*...Врастает бытие в дорожный быт.
Судьба в купе, как в панцире улитка...*

Вот это проникновение образа бытия сквозь приземленный, прозаический предмет быта я ощутил в какой-то мере и в ранних его стихах. Причем вещественное присутствие прозы быта там совершенно очевидно прорастало из его пусть и не такого еще богатого, но физически осязаемого жизненного опыта. Меня покоряют, например, строки:

*В дождливом небе молчаливая сорока
Летит куда-то по своим делам.
Сороке, видно, тоже одиноко,
И я делю с ней небо пополам.*

Или эти:

*...Снег срывается. Бьет как попало
Серый дождь по поникшим стволам.
Вдоль речушки по сизым холмам
Ковыляет собака устало...
Запоздала весна, запоздала.*

Я убежден в том, что если вы хотите войти внутрь поэтического мира Владимира Спектора, нужно вначале познакомиться с его автобиографической прозой, насыщенной такой точностью подробностей и деталей человеческого существования, что кажется иногда, ты имеешь дело не столько со словесностью, сколько с киноэкраном, причем хроникально-документальным. Где-то на страницах своих мемуаров он вспоминает, как еще старшекласником, в середине десятого класса, написал, как ему казалось, «достаточно приличное стихотворение о вечернем городе, дожде и душевном том-

лении» и показал его любимому учителю литературы 20-й школы Алексею Михайловичу Ушакову. К слову сказать, это был и мой когда-то любимый учитель. И вот далее: «Он прочитал, приобнял меня за плечи и сказал неожиданную в тот момент фразу: „Ты, Володя, стихи не пиши. Ты прозу пиши“. Я просто обалдел от этого. Но охота сочинять рифмованные тексты действительно исчезла. Надолго».

Но писать стихи Спектор не перестал. Однако старый учитель оказался, на мой взгляд, прозорлив в том, что лучшее в стихах Володи там, где сквозь поэзию видим лицо прозы, бытие — сквозь быт.

У него самого в середине 90-х вырвалось:

...Не пойму ничего. Не пойму.
Начинается жизнь другая.
Может, время стихов ушло,
Время прозы суровой настало?..

А в самом конце десятилетия он твердо констатирует:

...в конце благодатного лета
Все прозаики мы. Не поэты.

И я думаю, что не только в преддверии «зимних» времен, но уже одновременно с появлением первых настоящих стихов он хорошо чувствовал поэтическую силу прозы. Как раз потому, что лирический сюжет у Владимира Спектора чаще всего (во всяком случае, в тех стихах, которые мне ближе) отталкивается от прозаической подробности или детали быта, пережитых и освоенных автором, а вслед за тем и его лирическим героем, как раз поэтому его стихотворство превращается в лирический автопортрет, прочно прикрепленный к предметно осязаемому пространству и времени его существования. Я бы даже сказал, в *личный лирический документ времени*.

Посмотрите, как точно у него определено пространство и время его детства, унаследованное и его же собственным ребенком, в совершенно другом детском опыте. Детство ушедшее и возродившееся.

Бурьян пророс из детства моего.
Я не узнал его.
Он посерел от пыли.
Качаясь скорбно на ветру,
Он шелестит. И шепчет мне:
«Мы были.
И ты играл со мной
В военную игру...» —
«И с другом! —
Я кричу ему. —
И с другом!»
И смотрит дочка на бурьян
С испугом.
А он пророс из детства моего.

И здесь ключевое слово, из которого прорастает не только детство, но и образная ткань стихов, конечно, абсолютно прозаический бурьян («Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...»)! И я хорошо помню этот самый бурьян поч-

ти сельских улочек и проулков Ворошиловграда... Но в чем ценность этого, спросите вы, автопортрета, если он так обытовлен, что впору раствориться в повседневности каждого из нас, в чем в таком случае его неповторимость?

А в том, отвечу, что это, как я сказал, еще и документ времени, в котором проживал человек, целиком взращенный советской историей в ее постсталинском варианте. Но при этом в провинциальном ее изводе и вовсе не Луганска, хотя именно это имя города чаще всего возникает в лирике Спектора, а именно, повторю, Ворошиловграда. Даже если учесть «оттепель», когда он на десятилетие превратился в Луганск. То есть вполне и исключительно советского областного промышленного центра. Это история человека, лично становившегося в относительно благополучной семье в советской провинции. И вот этот привычный и более или менее стабильный мир неожиданно сдвинулся и поехал. Оторвался неизвестно куда уже с конца 1980-х годов. Тогда, когда и вышел первый сборник Спектора, но не со следами переживаемого настоящего, а — прошлого, когда еще возможны были такие строки:

Вспоминаю армейскую жизнь.
Как шептал я себе: «Держись!»
Как гонял меня старшина
И кричал мне: «А вдруг война?..»

Как я песни в строю орал,
Как потом в лазарете хворал.
Как до блеска я драил полы,
Как казался себе удалым,

Хоть и не был большим удалцом —
Хмурый воин с худущим лицом.
Но зато по команде «Отбой»
Засыпал я, довольный судьбой,

*Потому что служил стране
И светилась звезда в окне,
Потому что, как ни ряди —
Жизнь была еще вся впереди.*

Иные переживания зафиксировали последующие его книги. Переживания, связанные не только с привычным миром, съехавшим со своего, как оказалось, не очень надежного фундамента. Но и с абсолютным крушением декорации этого мира в событиях 2014 года и следующих лет, что, вероятно, и заставило автора этих сборников покинуть родные места. Теперь уже не Ворошиловград, а Луганск, с которым лирический герой Спектора ведет разговор, как с близким другом. Уже в следующем, втором его сборнике, «Усталый караул» (1991), где вновь слышен перестук колес старого ворошиловградского трамвая, читаем:

...И мы с тобой идем по замкнутому кругу,
Хоть, кажется, вершим движение вперед.
И только тень в глазах надежды и испуга —
*Испуга за страну,
надежды на народ.*
(«Трамвайного пути избитые законы...»)

И в гораздо более поздних стихах попытки осознать события поворота истории чаще и чаще оборачиваются отторжением явившегося, похожего тем не менее, как мне кажется, на не очень прочно забытое старое.

...Понять пытаюсь это время,
В котором «так» похоже на «не так»,
Где нет покоя с теми и не с теми,
Где «бывший друг» звучит как «бывший враг».

(«Весна на улице, и нет покоя...»)

И вот что интересно: чем больше в стихах Владимира Спектора сомнений по поводу происходящего, тем менее места остается для опоры лирического сюжета — то есть для чувственно осязаемого предмета, вещи. Осязаемого в таких, очень близких мне интонационно стихах:

Запах «Красной Москвы» — середина двадцатого века.
Время — «после войны». Время движется только вперед.
На углу возле рынка — с веселым баяном калека.
Он танцует без ног, он без голоса песни поет...
Это — в памяти все у меня, У всего поколенья.
Мы друг друга в толпе мимоходом легко узнаем...

С какого-то момента в стихах обнаруживается пограничное пространство перехода. Теперь лирический сюжет все чаще направляет противостояние не очень внятных моему уху «да» и «нет».

На наши «да» и «нет» — каким будет ответ,
И кто его услышит? Текут, словно вода,
Все наши «нет» и «да». И голос их все тише.

Мгновенье — и забыт забот мешок и быт,
И с ними — ты в придачу. Спешат за нами вслед
Все наши «да» и «нет». И ничего не значат.

Этой оппозиции созвучны другие. Такие же неопределенные в ощущениях. «Так» и «не так», «еще» и «уже», «до» и «после»... Возможно, дело в том, что из-под ног исчезает опора предмета (быт — забыт), потому-то:

Ответов на вопросы нет.
Но поиск их все длится...

...Зачем, куда, откуда, как?
— Бог весть, моя родная...
Я знаю — свету нужен мрак,
но почему — не знаю.

В это гулкое слепое пространство «мрака» вдруг провалились и исчезли с детства милые сердцу предметы, тот вещественно-природный мир провинции, который был для лирического героя Владимира Спектора в самом прямом смысле уютным домом, где каждый угол ему приветливо улыбался и приглашал к беседе и размышлению.

...Не пойму, не пойму,
 не могу я понять,
 хоть и поезд нелитерный — мой,
 Но за чайной водой,
 вперемешку с бедой,
 услышал я: мы едем домой...
 («Проходящий маршрут...»)

Но дорога в ТОТ ДОМ ему, лирическому герою поэта, уже заказана!

Когда эта личная катастрофа произошла, он в поисках опоры вошел в область медитации, философствования как попытки объяснить происходящее, не поддающееся приятию человека с менталитетом, сложившимся во второй половине XX века. Лирический герой Спектора отказывается принять сумбурную логику 1990-х и последующих десятилетий. Поддерживает его лишь трепетная любовь к Луганску—Ворошиловграду.

Как мне обнять то, что с детства любимо —
 Улицу Даля, Советскую, *мимо*
 Завода ползуций трамвай,
 Мимо родного Луганска... Вставай!
 На остановке — знакомые лица.
 Время Луганска упрямое — длится
 Среди разрухи, страданий и ран.
 Это история, словно таран,
 Лупит, на прочность судьбу проверяя...
 Здравствуй, сосед! Что ж так долго трамвая
 Нету и нету... — Не жди, не придет.
 Год, считай, нету. Да, больше, чем год.
 Значит, пешком, как нормальный влюбленный,
 Вдоль Карла Маркса и вдоль Оборонной.
 Вон — Дом со Шпилем, «Россия» и Пед,
 И «Авангард», где «Зари» гаснет свет.
 В мыслях иду, как летаю по краю,
 И, обнимая в душе, понимаю —
 Тает слезинкой дорога назад...
 Где ты, Луганск—Ворошиловоград?

Вы заметили, что имена улиц, домов родного города повисают в воздухе, как ярлыки реалий, когда-то насыщенных до боли знакомой плотью? Сейчас это — миражи в миражном мире. Вот в чем *личная, частная* драма лирического героя как эмоциональный документ *общего* времени истории. Ему, герою, остается только бросить вызов, весьма абстрактный, недоброй и такой же абстрактной силе, настоящее лицо которой или размыто, или в него просто нет сил слишком пристально вглядываться и искать истоки, откуда «есть пошло».

Условно делимы на «право» и «лево», как славно незримы «король, королева, Сапожник, портной»... Это со мною и с целой страной,
 Где всех поделили почти безусловно
 на «любишь — не любишь», на «ровно — не ровно»,
 А будто вчера — жизни беспечной была, как сестра,
 Страна, где так быстро привыкли к плохому,

Где «эньки-беньки» вышли из дому, а следом свинец,
Хочешь — не хочешь, но сказке — конец.

Или:

На повороте визжат тормоза.
Модно быть «Против». Не модно быть «За».
Модно награды давать палачу...
Модно быть гадом.
Но я — не хочу!

Или еще:

И, в самом деле, все могло быть хуже. — мы живы, невзирая на эпоху.
И даже голубь, словно ангел, кружит, как будто подтверждая: «Все — неплохо».
Хотя судьба ведет свой счет потерям, где голубь предстает воздушным змеем...
В то, что могло быть хуже — твердо верю. А в лучшее мне верится труднее.

Кира Твердеева пишет, что лирика зрелого Владимира Спектора медитативна, склонна к философско-поэтической рефлексии. И в этом находит ее несомненное достоинство. Могу с этим согласиться. Но замечу, что, по моим наблюдениям, поэтическая философия у него ныне является там, как я уже говорил, где исчезает почва той самой знакомой и дорогой ему ПРОЗЫ БЫТА, формировавшей мировидение поэта, его ПОЭТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ. Без него герой обречен, подобно чаплинскому пилигриму, балансировать в пустоте между временами, как между «ДА» и «НЕТ».

Между тем Владимир Спектор обладает удивительно плодотворным даром нравственного приятия реальности в ее ЦЕЛОСТНОСТИ. И эта восприимчивость к миру, открытость ему, готовность с ним сотрудничать, в конце концов позволяет преодолеть метания героя, рожденные тяжелым чувством непознаваемости зигзагов современной истории. Этот дар не позволяет поэту предаться отчаянию и отторгнуть реальность, даже в ее на первый взгляд непреодолимой катастрофичности. Что, впрочем, всегда было присуще большим художникам, вроде любимых им Вадима Шефнера, Арсения Тарковского, к которому обращены и вот эти замечательные строчки:

Ничего не изменилось,
Только время растворилось
и теперь течет во мне.
Только кровь моя сгустилась,
Только крылья заострились
меж лопаток на спине,
И лечу я, как во сне.
Как цыганка нагадала:
Все, что будет, — будет мало.
Быть мне нищим и святым.
Где-то в сумраке вокзала
мне дорогу указала.
Оглянулся — только дым.
Где огонь был — все дымится.
Крыльев нет. Но есть страница,
Вся в слезах. Или мечтах.

На странице чьи-то лица.
 Небо, дым, а в небе птицы,
Лица с песней на устах.
Ветер времени играет.
 Ветер кровь мою смущает
 Наяву или во сне.
Мальчик с узкими плечами,
 парень с хмурыми очами —
Я не в вас. Но вы во мне.
 Мы с лопаткой на ремне
 маршируем на учење,
Все слышнее наше пенье.
 Мы шагаем и поем.
О красавице дивчине,
 о судьбе, и о калине,
И о времени своем.